

СЕРГЕЙ
ДОВЛАТОВ

Филмал



АЗБУКА-КЛАССИКА

Сергей Довлатов

Филиал

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=118892

*Филиал : (Записки ведищего) / Сергей Довлатов: Азбука, Азбука-Аттикус; Санкт-Петербург; 2013
ISBN 978-5-389-05131-7*

Аннотация

Сергей Довлатов – один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX – начала XXI века. Его повести, рассказы и записные книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. «Заповедник», «Зона», «Иностранка», «Наши», «Чемодан» – эти и другие удивительно смешные и пронзительно печальные довлатовские вещи давно стали классикой. «Отморозил пальцы ног и уши головы», «выпил накануне – ощущение, как будто проглотил заячью шапку с ушами», «алкоголизм излечим – пьянство – нет» – шутки Довлатова запоминаешь сразу и на всю жизнь, а книги перечитываешь десятки раз. Они никогда не надоедают.

Сергей Довлатов

Филиал

© С. Довлатов (наследники), 1990, 2013

© В. Пожидаев, оформление серии, 2012

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013

Издательство АЗБУКА®

Публикуется с любезного разрешения Елены и Екатерины Довлатовых

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Мама говорит, что когда-то я просыпался с улыбкой на лице. Было это, надо полагать, году в сорок третьем. Представляете себе: кругом война, бомбардировщики, эвакуация, а я лежу и улыбаюсь...

Сейчас все по-другому. Вот уже лет двадцать я просыпаюсь с отвратительной гримасой на запущенной физиономии.

Напротив моего окна светящаяся вывеска – «Колониальный банк». Неоновые буквы вздрагивают и расплываются. Светает.

Хозяйка ланчонета миссис Боно с грохотом поднимает железную решетку.

Из мрака выплывает наш арабский пуфик, детские качели, шаткое трюмо... Бонжур, мадемуазель Трюмо! Привет, сеньор Качелли! Здравствуйте, геноссе Пуфф!

Мне пора. Я – радиожурналист. Точнее – анкермен, ведущий. Мы вещаем на Россию. Радиостанция «Третья волна». Программа «События и люди». Наша контора расположена в центре Манхэттена.

В России ускорение и перестройка. Там печатают Набокова и Ходасевича. Там открывают частные кафе. Там выступает рок-группа «Динозавры». Однако нас продолжают глушить. В том числе и мой не очень звонкий баритон. Говорят, на это расходуются большие деньги.

У меня есть идея – глушить нас с помощью все тех же «Динозавров». Как говорится, волки сыты, и овцы целы.

Я спешу. Солдатский завтрак: чашка кофе, «Голуаз» без фильтра. Плюс заголовки утренних газет:

«Еще один заложник... Обстреляли базу террористов... Тим О'Коннор добивается переизбрания в Сенат...»

Впрочем, нас это волнует мало. Наша тема – Россия и ее будущее. С прошлым все ясно. С настоящим – тем более:

живем в эпоху динозавров. А вот насчет будущего есть разные мнения. Многие даже считают, что будущее наше, как у раков, – позади.

Час в нью-йоркском сабвее. Ежедневная психологическая гимнастика. Школа выдержки, юмора, демократии и гуманизма. Что-то вроде Ноева ковчега.

Здесь самые толстозадые в мире полицейские. Самые безликие менеджеры и клерки. Самые темпераментные глухонемые. Самые шумные подростки. Самые вежливые бандиты и грабители.

Здесь вас могут ограбить. Однако дверью перед вашей физиономией не хлопнут. А это, я считаю, главное.

Радио «Третья волна» помещается на углу Сорок девятой и Лексингтон. Мы занимаем целый этаж гигантского небоскреба «Корвет». Под нами – холл, кафе, табачный магазин, фотолаборатория.

Здесь всегда прогуливаются двое охранников, белый и черный. С белым я здороваюсь как равный, а перед черным немного заискиваю. Видно, я демократ.

На радио я сотрудничаю уже десять лет. В первые же дни начальник Барри Тарасевич объяснил мне:

– Я не говорю вам – что писать. Я только скажу вам – чего мы писать категорически не должны. Мы не должны писать,

что религиозное возрождение с каждым годом ширится. Что социалистическая экономика переживает острый кризис. И так далее. Все это мы писали сорок лет. За это время у нас сменилось четырнадцать главных редакторов. А социалистическая экономика все еще жива.

– Но она действительно переживает кризис.

– Значит, кризис – явление стабильное. Упадок вообще стабильнее прогресса.

– Учту.

Барри Тарасевич продолжал:

– Не пишите, что Москва исступленно бряцает оружием. Что кремлевские геронтократы держат склеротический палец...

Я перебил его:

– На спусковом крючке войны?

– Откуда вы знаете?

– Я десять лет писал это в советских газетах.

– О кремлевских геронтократах?

– Нет, о ястребах из Пентагона.

Иногда меня посещают такие фантазии. Закончилась война. Америка капитулировала. Русские пришли в Нью-Йорк. Открыли здесь свою комендатуру.

Пришлось им наконец решать, что делать с эмигрантами. С учеными, писателями, журналистами, которые занимались антисоветской деятельностью.

Вызвал нас комендант и говорит:

– Вы, наверное, ожидаете смертной казни? И вы ее действительно заслуживаете. Лично я собственными руками шлепнул бы вас у первого забора. Но это слишком дорогое удовольствие. Не могу я себе этого позволить! Кого я посажу на ваше место? Где я возьму других таких отчаянных прохвостов? Воспитывать их заново – мы не располагаем такими средствами. Это потребует слишком много времени и денег... Поэтому слушайте! Смирно, мать вашу за ногу! Ты, Куроедов, был советским философом. Затем стал антисоветским философом. Теперь опять будешь советским философом. Понял?

– Слушаюсь! – отвечает Куроедов.

– Ты, Левин, был советским писателем. Затем стал антисоветским писателем. Теперь опять будешь советским писателем. Ясно?

– Слушаюсь! – отвечает Левин.

– Ты, Далматов, был советским журналистом. Затем стал антисоветским журналистом. Теперь опять будешь советским журналистом. Не возражаешь?

– Слушаюсь! – отвечает Далматов.

– А сейчас, – говорит, – вон отсюда! И помните, что завтра на работу!

Радио «Третья волна» – это четырнадцать кабинетов, два общих зала, пять студий, библиотека и лаборатория. Плюс

коридор, отдел доставки, техническая мастерская и хранилище радиоаппаратуры.

Кабинеты предназначены для штатных сотрудников. Общие залы, разделенные перегородками, для внештатных. Здесь же работают секретари и машинистки. В особых нишах – телетайп, селектор и копировальное устройство.

Есть специальная комната для вахтера.

В Союзе о нашей радиостанции пишут брошюры и книги. Десяток таких изданий есть в редакционной библиотеке:

«Паутина лжи», «Технология ненависти», «Мастера дезинформации», «Под сенью ФБР», «Там, за железной дверью». И так далее.

Кстати, дверь у нас стеклянная. Выходит на лестничную площадку. У двери сидит мисс Филлипс и вяжет.

В брошюрах нашу радиостанцию именуют зловещим, тайным учреждением. Чем-то вроде неприступной крепости. Расположены мы якобы в подземном бункере. Охраняемся чуть ли не баллистическими ракетами.

В действительности нас охраняет мисс Филлипс. Если появляется незнакомый человек, мисс Филлипс спрашивает:

– Чем я могу вам помочь?

Как будто дело происходит в ресторане.

Если же незнакомый человек уверенно проходит мимо, охранница восклицает:

– Добро пожаловать!..

Сюда можно приводить друзей и родственников. Можно приходить с детьми. Можно назначать тут деловые и любовные свидания.

Уверен, что сюда нетрудно пронести бомбу, мину или ящик динамита. Документов здесь не спрашивают. Не знаю, есть ли какие-то документы у штатных сотрудников. У меня есть только ключ от редакционной уборной.

На радио около пятидесяти штатных сотрудников. Среди них имеются дворяне, евреи, бывшие власовцы. Есть шестеро невозвращенцев – моряков и туристов. Есть американцы русского и местного происхождения. Есть интеллигентный негр Руди, специалист по творчеству Ахматовой.

Попадают на радио довольно замечательные личности. Есть внучатый племянник Керенского с неожиданной фамилией Бухман. Есть отдаленный потомок государя императора – Владимир Константинович Татищев.

Как-то у нас была пьянка в честь дочери Сталина. Сидел я как раз между Татищевым и Бухманом. Строго напротив Аллилуевой.

Справа, думаю, родственник Керенского. Слева – потомок императора. Напротив – дочка Сталина. А между ними – я. Представитель народа. Того самого, который они не поделили.

Мой редактор по образованию – театровед. Работал на

московском телевидении. Был тарифицирован в качестве режиссера. Поставил знаменитый многосерийный телефильм «Будущее начинается сегодня». Стал задумываться об экранизации Гоголя. Поссорился с начальством. Эмигрировал. Обосновался в Нью-Йорке. Поступил на радио.

Тарасевич быстро выучил английский. Стал домовладельцем. Увлёкся выращиванием грибов. Я не оговорился, именно грибов. Подробности не знаю.

Первые годы все думал о театре. Пытался организовать труппу из бывших советских актеров. И даже поставил один спектакль. Что-то вроде композиции по «Миргороду».

Премьера состоялась на Бродвее. Я был в командировке, пойти не смог. Потом спросил у одного знакомого:

– Ты был? Ну как?

– Да ничего.

– Народу было много?

– Сначала не очень. Пришел я – стало значительно больше.

Тарасевич был довольно опытным редактором и неглупым человеком. Вспоминаю, как я начинал писать для радио. Рецензировал новые книги. Назойливо демонстрировал свою эрудицию.

Я употреблял такие слова, как «философема», «экстраполяция», «релевантный». Наконец редактор вызвал меня и говорит:

– Такие передачи и глушить не обязательно. Все равно их

понимают только аспиранты МГУ.

Года три у нас проработал внештатным сотрудником загадочный религиозный деятель Лемкус. Вел регулярные передачи «Как узреть Бога?». Доказывал, что это не так уж сложно.

Тарасевич, поглядывая на Лемкуса, говорил:

– Может, и хорошо, что нас глушат. Иногда это даже полезно. Советские люди от этого только выигрывают.

Лемкус обижался:

– Вы не понимаете, что такое религия. Религия для меня...

– Понимаю, – жестом останавливал его Тарасевич. – Источник заработка.

В коридоре мне попался диктор Лева Асмус. Лева обладал красивым низким баритоном удивительного тембра. Читал он свои тексты просто, выразительно и без эмоций. С той мерой равнодушия, которая отличает прирожденных дикторов.

Асмус проработал на радио восемь лет. За эти годы у него появилась довольно странная черта. Он стал фанатиком пунктуации. Он не только следовал всем знакам препинания. Он их четко произносил вслух. Вот и теперь он сказал:

– Привет, запятая, старик, многоточие. Срочно к редактору, восклицательный знак.

– Что случилось?

– Открывается симпозиум в Лос-Анджелесе, точка. Тема, двоеточие, кавычки, «Новая Россия», запятая, варианты и альтернативы. Короче говоря, тире, очередной базар. Тебе придется ехать, многоточие.

Этого мне только не хватало.

Должен признаться, что я не совсем журналист. Я с детства мечтал о литературе. Опубликовал на Западе четыре книги.

Жить на литературные заработки трудно. Вот я и подрабатывал на радио.

Среди эмигрантских писателей я занимаю какое-то место. Увы, далеко не первое. И, к счастью, не последнее. Я думаю, именно такое, откуда хорошо видно, что значит – настоящая литература.

Моя жена – квалифицированная наборщица, по-здешнему – тайпистка. Она набирала для издательств все мои произведения. А значит, читать мои рассказы ей уже не обязательно.

Должен признаться, что меня это слегка травмирует. Я спрашиваю:

– Ты читала мой рассказ «Судьба»?

– Конечно, ведь я же набирала его для альманаха «Перепутье».

Тогда я задаю еще один вопрос:

– А что ты сейчас набираешь?

– Булгакова для «Ардиса».

– Почему же ты не смеешься?

Моя жена удивленно приподнимает брови:

– Потому что я набираю совершенно автоматически.

Навстречу мне спешит экономический обозреватель Чобур. Девятый год он курит мои сигареты. Девятый год я слышу от него при встрече братское: «Закурим!»

Когда я достаю мои неизменные «Голуаз» и зажигалку, Чобур уточняет: «Спички есть».

Иногда я часа на два опаздываю. Завидев меня, Чобур с облегчением восклицает:

– Целый день не курил! Привык к одному сорту. Втянулся, понимаешь... Закурим!

Я спросил Чобура:

– Как дела?

– Потрясающие новости, старик! Мне дали наконец четырнадцатый грэйд в тарифной сетке. Это лишние две тысячи в год! Это новая жизнь, старик! Принципиально новая жизнь!... Закурим по такому случаю.

Напротив кабинета редактора сидит машинистка Полина. Когда-то она работала в нашей франкфуртской секции. Познакомилась с немецким актером. Вышла замуж. Переехала с мужем в Нью-Йорк. И вот этот Клаус сидит без работы.

Я говорю Полине:

– Надо бы ему поехать в Голливуд. Он может играть эсэсовцев.

– Разве Клаус похож на эсэсовца?

– Я его так и не видел. На кого он похож?

– На еврея.

– Он может играть евреев.

Полина тяжело вздыхает:

– Здесь своих евреев более чем достаточно.

Редактор Тарасевич приподнялся над столом, заваленным бумагами.

– Входи, – говорит, – присаживайся.

Я сел.

– Тебе в Калифорнии бывать приходилось?

– Трижды.

– Ну и как? Понравилось?

– Еще бы! Сказочное место. Райский уголок.

– Хочешь еще раз туда поехать?

– Нет.

– Это почему же?

– Семья, домашние заботы и так далее.

– Тем более – поезжай. Отдохнешь, развлечешься. Между прочим, в Калифорнии сейчас – апрель.

– То есть как это?

– Ну, в смысле – жарко. Я бы не задумываясь поехал –

солнце, море, девушки в купальниках... Прости, отвлекся.
– Нет уж, продолжай, – говорю.

Редактор продолжал:

– Еще один вопрос. Скажи мне, что ты думаешь о будущей России? Только откровенно.

– Откровенно? Ничего.

– Своеобразный ты человек. В Калифорнию ехать не хочешь. О будущей России не задумываешься.

– Я еще с прошлым не разобрался... И вообще, что тут думать?! Поживем – увидим.

– Увидим, – согласился редактор, – если доживем.

Тарасевич давно интересовался:

– Есть у тебя какие-нибудь политические идеалы?

– Не думаю.

– А какое-нибудь самое захудалое мировоззрение?

– Мировоззрения нет.

– Что же у тебя есть?

– Мирозерцание.

– Разве это не одно и то же?

– Нет. Разница примерно такая же, как между штатным сотрудником и внештатным.

– По-моему, ты чересчур умничаешь.

– Стараюсь.

– И все-таки, как насчет идеалов? Ты же служишь на по-

литической радиостанции. Идеалы бы тебе не помешали.

– Это необходимо?

– Для штатных работников – необходимо. Для внештатных – желательно.

– Ну, хорошо, – говорю, – тогда слушай. Я думаю, через пятьдесят лет мир будет единым. Хорошим или плохим – это уже другой вопрос. Но мир будет единым. С общим хозяйством. Без всяких политических границ. Все империи рухнут, образовав единую экономическую систему...

– Знаешь что, – сказал редактор, – лучше уж держи такие идеалы при себе. Какие-то они чересчур прогрессивные.

Год назад Тарасевич заговорил со мной о штатной работе:

– Ты знаешь, что Клейнер в больнице? Состояние критическое.

(Клейнер был одним из штатных сотрудников.)

Я спросил:

– Думаешь, надежда есть?

– Сто шансов против одного. А значит, освобождается вакансия.

– Я спрашиваю – надежда есть, что он будет жить?

– А-а... Это вряд ли. Жаль, хороший человек был. И не в пример тебе – убежденный борец с коммунизмом.

Пришлось мне объяснить редактору:

– Понимаешь, штатная работа не для меня. Чиновником

я становиться не желаю. Дисциплине подчиняться не способен. Подработать – это с удовольствием. Но главное мое занятие – литература.

– Сочувствую, – заметил Тарасевич искренне, без всякого желания обидеть.

Тарасевича два раза отвлекали. Затем он бегал в студию. Затем беседовал по телефону женским голосом: «Кого вам надо?.. Нету Тарасевича. Сама его весь день разыскиваю...» Затем чинил компьютер с помощью ножа для разрезания бумаги. И лишь потом он сформулировал мое задание:

– Едешь в Калифорнию. Участвуешь в симпозиуме «Новая Россия». Записываешь на пленку все самое интересное. Берешь интервью у самых знаменитых диссидентов. Дополняешь все это собственными размышлениями, которые можно почерпнуть у Шрагина, Турчина или Буковского. И в результате готовишь четыре передачи, каждая минут на двадцать.

– Ясно.

– Вот программа. Действуют три секции: общественно-политическая, культурная и религиозная. Намечено около двадцати заседаний. Тематика самая невероятная. От Брестского мира до Ялтинской конференции. От протопопа Аввакума до какого-нибудь идиотского Фета. Короче, Россия и ее будущее.

– Какое же это будущее – Фет, Аввакум?..

– Меня не спрашивай. Есть программа. Пожалуйста – «Эхо Ялтинской конференции. Доклад Шендеровича». Читаю дальше: «Фет – провозвестник еврокоммунизма. Сообщение Фокина». Между прочим, тут есть и о будущем. Вот, например. «Россия и завоевание космических пространств». «Экуменические центры будущей России». И так далее.

– Сориентируюсь на месте.

– Мероприятие завершится символическими выборами.

– Кого же будут выбирать?

– Я думаю, президента.

– Какого президента?

– Президента в изгнании.

– Президента – чего?

– Я думаю – будущей России. Президента и всех его однопольцев – митрополитов, старост, разных там генералиссимусов... Да что ты ко мне пристал?! Намечено серьезное общественное мероприятие. Мы должны его отобразить. Какие могут быть вопросы?! Действуй! Ты же профессионал!..

Я давно заметил: когда от человека требуют идиотизма, его всегда называют профессионалом.

В Лос-Анджелес я прилетел рано утром. Минут десять простоял около багажного конвейера. На стоянке такси меня порадовало обилие ковбойских шляп.

Сел в машину. Долго ехал по шоссе, все любовался кипарисами. Таксист был одет в жокейскую шапочку с надписью

«Янкис», клетчатую рубашку и джинсы. В зубах у него дымилась сигара. Наконец я спросил:

– Далеко еще?

(Такую фразу я способен выговорить без акцента.)

Таксист поглядел на меня в зеркало и спрашивает:

– Земляк, ты в Устьвымлаге попкой не служил? Году в шестидесятом?

– Служил. Не попкой, а контролером штрафного изолятора.

– Второй лагпункт, двенадцать километров от Иоссера?

– Допустим.

– Потрясающе! А я там свой червонец оттянул. Какая встреча, гражданин начальник!

Таксист, как выяснилось, отбыл срок за развращение несовершеннолетней. Потом женился на еврейке, эмигрировал. Купил медальон на такси.

– Жизнью своей, – говорит, – я в общем-то доволен. Работая, женат, имею дочь.

Я зачем-то спросил:

– Несовершеннолетнюю?

– Мишелочка в четвертом классе... У меня такси, жена – бухгалтер. Зарабатываем больше тысячи в неделю. Через день по ресторанам ходим. Что хотим заказываем: сациви, бастурму, шашлык на ребрышках...

– Не похоже, – говорю, – вы тощий.

Таксист снова поглядел на меня:

– Так ведь я кушаю. Но и меня кушают...

Я подумал: вот тебе и Дальний Запад! Всюду наши люди.

К одиннадцати часам я более или менее разобрался в ситуации. Симпозиум «Новая Россия» организован Калифорнийским институтом гражданских прав. Во главе проекта стоит известный общественный деятель мистер Хиггинс. Ему удалось получить на это дело многотысячную субсидию. Приглашено не менее девяноста участников из Америки, Европы, Канады. Даже из Австралии. В том числе – русские ученые, литераторы, священнослужители. Не говоря об американских политологах, историках, славистах.

Кроме официальных участников должны съехаться так называемые гости. То есть самодеятельные журналисты, безработные филологи, всякого рода амбициозные празднующие личности.

Задача симпозиума – «попытка футурологического моделирования гражданского, культурного и духовного облика будущей России».

Объект внимания – таинственное багровое пятно на карте. Пятно, я бы добавил, – размером с хорошую шкуру неубитого медведя.

Разместили нас в гостинице «Хилтон». По одному человеку в номере. За исключением прозаика Белякова, которого неизменно сопровождает жена. Мотивируется это тем, что

она должна записывать каждое его слово.

Помню, Беляков сказал литературоведу Эткинду:

– У меня от синтетики зуд по всему телу.

И Дарья Владимировна тотчас же раскрыла записную книжку.

К часу на всех этажах гостиницы «Хилтон» зазвучала славянская речь. К двум по-русски заговорила уже и местная хозобслуга. Портье, встречая очередного гостя, твердил:

– Добро пожалуйста! Добро пожалуйста! Добро пожалуйста!

В три часа мистер Хиггинс провел организационное собрание. К этому времени я уже повидал десяток знакомых. Подвергся объятиям Лемкуса. Выслушал какую-то грубость от Юзовского. Дал прикурить Самсонову. Помог дотащить чемодан сионисту Гурфинкелю. Обнял старика Панаева.

Панаев вытащил карманные часы размером с десертное блюдо. Их циферблат был украшен витиеватой неразборчивой монограммой. Я вгляделся и прочитал сделанную каллиграфическими буквами надпись:

«Пора опохмелиться!!!» И три восклицательных знака.

Панаев объяснил:

– Это у меня еще с войны – подарок друга, гвардии рядового Мурашко. Уникальный был специалист по части вы-

пивки. Поэт, художник...

– Рановато, – говорю.

Панаев усмехнулся:

– Ну и молодежь пошла.

Затем добавил:

– У меня есть граммов двести водки. Не здесь, а в Париже. За телевизор спрятана. Поверьте, я физически чувствую, как она там нагревается.

Панаев был классиком советской литературы. В сорок шестом году он написал роман «Победа». В романе не упоминалось имени Сталина. Генералиссимус так удивился, что наградил Панаева орденом.

Впоследствии Панаев говорил:

– Кровожадный Сталин наградил меня орденом. Мировлюбивый Хрущев выгнал из партии. Добродушный Брежнев чуть не посадил в тюрьму.

Отмечалась годовщина массовых расстрелов у Бабьего Яра. Шел неофициальный митинг. Среди его участников был орденосносец Панаев. Он вышел к микрофону, начал говорить. Раздался выкрик из толпы:

– Здесь были расстреляны не только евреи.

– Да, – ответил Панаев, – верно. Но лишь евреи были расстреляны только за это. За то, что они евреи.

Мистер Хиггинс рассказал нам о задачах симпозиума. Вступительную часть завершил словами:

– Мировая история едина!

– Факт! – отозвался из своего угла загадочный религиозный деятель Лемкус.

Мистер Хиггинс слегка насторожился и добавил:

– Убежден, что Россия скоро встанет на путь демократизации и гуманизма!

– Факт! – все так же энергично реагировал Лемкус.

Мистер Хиггинс удивленно поднял брови и сказал:

– Будущая Россия видится мне процветающим свободным государством!

– Факт! – с тем же однообразием высказался Лемкус.

Наконец мистер Хиггинс внимательно оглядел его и произнес:

– Я готов уважать вашу точку зрения, мистер Лемкус. Я только прошу вас изложить ее более обстоятельно. Ведь брань еще не аргумент...

Усилиями Самсонова, хорошо владеющего английским, недоразумение было ликвидировано.

Мистер Хиггинс дал нам всевозможные инструкции. Коснулся быта: транспорт, стол, гостиничные услуги. Затем поинтересовался, есть ли вопросы.

– Есть! – закричал Панаев. – Когда мне деньги вернут? Самсонов перевел.

– Какие деньги? – удивился Хиггинс.

– Деньги, которые я истратил на такси.

Хиггинс задумался, потом мягко напомнил:

– Лично я доставил вас из аэропорта на своей машине. Вы что-то путаете.

– Нет, это вы что-то путаете.

– Хорошо, – уступил мистер Хиггинс, – сколько долларов вы израсходовали?

Панаев оживился:

– Восемьдесят. И не долларов, а франков. Машину-то я брал в Париже.

Мистер Хиггинс оглядел собравшихся:

– Вопросов больше нет?

Тут поднял руку чешский диссидент Леон Матейка:

– Почему я не вижу Рувима Ковригина?

Все зашумели:

– Ковригин, Ковригин!

Бывший прокурор Гуляев воскликнул:

– Господа! Без Ковригина симпозиум теряет репрезентативность!

Мистер Хиггинс пояснил:

– Все мы уважаем поэта Ковригина. Он был гостем всех предыдущих симпозиумов и конференций. Наконец, он мой друг. И все-таки мы его не пригласили. Дело в том, что на-

ши средства ограничены. А значит, ограничено число наших дорогих гостей. За каждый номер в отеле мы платим больше ста долларов.

– Идея! – закричал чешский диссидент Матейка. – Слушайте. Я перебираюсь к соседу. В освободившемся номере поселяется Ковригин.

Все зашумели:

– Правильно! Правильно! Матейка перебирается к Далматову. Рувимчик занимает комнату Матейки.

Матейка сказал:

– Я готов принести эту жертву. Я согласен переехать к Далматову.....

О том, чтобы заручиться моим согласием, не было и речи.

Мистер Хиггинс сказал:

– Решено. Я немедленно позвоню Рувиму Ковригину. Кстати, где он сейчас? В Чикаго? В Нью-Йорке? Или, может быть, на вилле Ростроповича?

– Я здесь, – сказал Рувим Ковригин, нехотя поднимаясь.

Все опять зашумели:

– Ковригин! Ковригин!

– Я тут проездом, – сказал Ковригин, – живу у одного знакомого. Гостиница мне ни к чему.

Матейка воскликнул:

– Ура! Мне не придется жить с Далматовым!

Я тоже вздохнул с облегчением.

Ковригин неожиданно возвысил голос:

– Плевать я хотел на ваш симпозиум. Все собравшиеся здесь – банкроты. Западное общество морально разложилось. Эмиграция – тем более. Значительные события могут произойти только в России!

Хиггинс миролюбиво заметил:

– Да ведь это же и есть тема нашего симпозиума.

Вечером нам показывали достопримечательности. Сам я ко всему этому равнодушен. Особенно к музеям. Меня всегда угнетало противоестественное скопление редкостей. Глупо держать в помещении больше одной картины Рембрандта...

Сначала нам показывали каньон, что-то вроде ущелья. Увязавшийся с нами Ковригин поглядел и говорит:

– Под Мелитополем таких каньонов до хрена!

Мы поехали дальше. Осмотрели сельскохозяйственную ферму: жилые постройки, зернохранилище, конюшню.

Ковригин недовольно сказал:

– Наши лошади в три раза больше!

– Это пони, – сказал мистер Хиггинс.

– Я им не завидую.

– Естественно, – заметил Хиггинс, – это могло бы показаться странным.

Затем мы побывали в форте Ромпер. Ознакомились с какой-то исторической мортирой. Ковригин заглянул в ее хо-

лодный ствол и отчеканил:

– То ли дело наша зенитная артиллерия!

Более всего нас поразили кофейный автомат. Мы ехали по направлению к Санта-Барбаре. Горизонт был чистый и просторный. Вдоль шоссе тянулись пронизанные светом заросли боярышника. Казалось – до ближайшего жилья десятки, сотни миль.

И вдруг мы увидели будку с надписью «Кофе». Автобус затормозил. Мы вышли на дорогу. Прозаик Беляков шагнул вперед. Внимательно прочитал инструкцию. Достал из кармана монету. Опустил ее в щель.

Что-то щелкнуло, и в маленькой нише утвердился бумажный стаканчик.

– Дарья! – закричал Беляков. – Стаканчик!

И бросил в щель еще одну монету. Из неведомого отверстия высыпалась горсть сахара.

– Дарья! – воскликнул Беляков. – Сахар!

И опустил третью монету. Стакан наполнился горячим кофе.

– Дарья! – не унимался Беляков. – Кофе!

Дарья Владимировна с любовью посмотрела на мужа. Затем с материнской нежностью в голосе произнесла:

– Ты не в Мордовии, чучело!

Хорошо человеку семейному оказаться в гостинице. Да

еще в незнакомом американском городе. Летом.

Телефон безмолвствует. Холодный душ в твоём распоряжении. Обязанностей никаких.

Можно курить, роняя пепел на одеяло. Можно не запира́ться в уборной. Можно ходить по ковру босиком.

Рестораны и бары открыты. Деньги есть. За каждым поворотом тебя ожидает приятная встреча.

Можно послушать новости. Можно спуститься в бар. Можно узнать телефон старой приятельницы Регины Кошиц, обосновавшейся в Лос-Анджелесе.

Что вместо этого проделывает русский литератор? Естественно, звонит домой, в Нью-Йорк. И сразу же на его плечи обрушиваются всяческие заботы. У матери бронхит. Ребенок кашляет. Компьютерная наборная машина требует ремонта. А я, значит, участвую в симпозиуме «Новая Россия»... До чего несерьёзно складывается жизнь!

Я лег и задумался – что происходит?! Какие-то нелепые, сомнительные обстоятельства. Бессмысленно просторный номер. За окном через все небо тянется реклама авиакомпании «Перл». У изголовья моей постели Библия на чужом языке. В кармане пиджака – блокнот с единственной малопонятной записью: «Юмор – инверсия разума». Что это значит?

Что все это значит? Кто я и откуда? Ради чего здесь нахожусь?

Мне сорок пять лет. Все нормальные люди давно застрелились или хотя бы спились. А я даже курить и то чуть не бросил. Хорошо, один поэт сказал мне:

– Если утром не закурить, тогда и просыпаться глупо...

Зазвонил телефон. Я поднял трубку.

– Вы заказывали четыре порции бренди?

– Да, – солгал я почти без колебаний.

– Несу...

Вот и хорошо, думаю. Вот и замечательно. В любой ситуации необходима какая-то доля абсурда.

Симпозиум открылся ровно в девять. Причем одновременно в трех местах. В Дановер-Холле заседала общественно-политическая секция. В библиотеке церкви Сент-Джонс обсуждалась религиозная проблематика. В галерее Мориса Лурье шел разговор на культурные темы.

Каждая секция должна была провести шесть заседаний.

Накануне я получил копии всех основных докладов. Записал короткое интервью с мистером Хиггинсом. Оставалось побеседовать со знаменитостями. Ну, и кое-что послушать – так, для общего развития.

В принципе я мог улететь хоть сегодня.

– Глупо, – сказал мне загадочный религиозный деятель Лемкус, – а как же банкет?!

Хиггинс сказал в микрофон единственную фразу. Точнее, начало первой фразы. А именно:

– Дис из э грейт привиледж фор ми...

Остальное я не записывал. Дальше я перейду на русский язык. И прекрасно скажу за него все, что требуется.

Утром я был в Дановер-Холле, где заседала общественно-политическая секция. Записал на пленку так называемые шумовые эффекты. То есть аплодисменты, кашель, смех, шуршание бумаги, выкрики из зала.

Я даже молчание записал на пленку. Причем варианта три или четыре. Благоговейное молчание. Молчание с оттенком недовольства. Молчание, нарушенное возгласом: «ПосланиК КГБ!» Молчание плюс гулкие шаги докладчика, идущего к трибуне. И так далее.

Допустим, я веду свой репортаж. И говорю, что было решено почтить кого-нибудь вставанием. К примеру, Григоренко или, скажем, Амальрика. А дальше я в сценарии указываю: «Запись. Тишина номер один». Ну и тому подобное.

Уже лет десять разукрашиваю я такими арабесками свои еженедельные программы. За эти годы у меня образовалась колоссальнейшая фонотека. Там есть все что угодно. От жужжания бормашины до криков говорящего попугая. От звука полицейской сирены до нетрезвых рыданий художни-

ка Елисеенко.

Когда-то я даже записал скрип протеза. Это была радиопередача о мужественном хореографе из Черновиц, который сохранил на Западе верность любимой профессии.

Более того, в моей фонотеке есть даже звук поцелуя. Это исторический, вернее – доисторический поцелуй. Поскольку целуются – кто бы вы думали? – Максимов и Синявский. Запись была осуществлена в тысяча девятьсот семьдесят шестом году. За некоторое время до исторического разрыва почвенников с либералами.

На симпозиуме оба течения были представлены равным количеством единомышленников. В первый же день они категорически размежевались.

Причем даже внешне они были совершенно разные. Почвенники щеголяли в двубортных костюмах, синтетических галстуках и ботинках на литой резине. Либералы были преимущественно в джинсах, свитерах и замшевых куртках.

Почвенники добросовестно сидели в аудитории. Либералы в основном бродили по коридорам.

Почвенники испытывали взаимное отвращение, но действовали сообща. Либералы были связаны взаимным расположением, но гуляли поодиночке.

Почвенники ждали Синявского, чтобы дезавуировать его в глазах американцев. Либералы поджидали Максимова и, в общем, с такой же целью.

Почвенники употребляли выражения с былинным оттенком. Такие, допустим, как «паче чаяния» или «ничтоже сумняшеся». И еще: «с энергией, достойной лучшего применения». А также: «Солженицын вас за это не похвалит». Либералы же использовали современные формулировки типа. «За такие вещи бьют по физиономии!» Или: «Поцелуйтесь с Риббентропом!» А также: «Сахаров вам этого не простит».

Почвенники запасали спиртное на вечер. Причем держали его не в холодильниках, а между оконными рамами. Среди либералов было много выпивших уже на первом заседании.

Почвенники не владели английским и заявляли об этом с гордостью. Либералы тоже не владели английским и стыдились этого.

Вместе с тем между почвенниками и либералами было немало общего. В Союзе их называли махровыми шовинистами и безродными космополитами. И они прекрасно ладили между собой.

В тюремных камерах они жили дружно. На воле им стало тесновато.

И все-таки они похожи. Как почвенники, так и либералы считают американцев глупыми, наивными, беспечными детьми. Детьми, которых необходимо воспитывать. Как почвенники, так и либералы высказываются громко. Главное для них – скомпрометировать оппонента как личность. Как

почвенники, так и либералы с болью думают о родине. Но есть одна существенная разница. Почвенники уверены, что Россия еще заявит о себе. Либералы находят, что, к величайшему сожалению, уже заявила.

Религиозные семинары проходили в церковной библиотеке. Там собирались православные, иудаисты, мусульмане, католики. Каждой из групп было выделено отдельное помещение.

В перерыве среди участников начали циркулировать документы. Иудаисты собирали подписи в защиту Анатолия Щаранского. Православные добивались освобождения Глеба Якунина. Сыны ислама хлопотали за Мустафу Джемилева. Католики пытались спасти Иозаса Болеслаускаса.

С подписями возникли неожиданные трудности. Иудаисты отказались защищать православного Якунина. Православные не захотели добиваться освобождения еврея Щаранского. Мусульмане заявили, что у них собственных проблем хватает. А католики вообще перешли на литовский язык.

Тут в кулуарах симпозиума появились Литвинский и Шагин. Оба были в прошлом знаменитыми диссидентами. Они довольно громко разговаривали и курили. Казалось, что они слегка навеселе.

– В чем дело? – спросили Литвинский и Шагин.

Им объяснили, в чем дело.

– Ясно, – проговорили Литвинский и Шагин, – тащите сю-

да ваши документы.

Сначала они подписали бумагу в защиту Щаранского. Потом – меморандум в защиту Якунина. Потом – обращение в защиту Джемилева. И наконец – петицию в защиту Боле-слаускаса.

К Литвинскому и Шагину приблизился священник Аристарх Филадельфийский. Он сказал:

– Вы проявили истинное человеколюбие! Как вы достиг-ли такого нравственного совершенства?! Кто вы? Православ-ные, иудаисты, мусульмане, католики?

– А мы неверующие, – сказали Литвинский и Шагин.

– Как же вы здесь оказались?

– Да, в общем-то, случайно. Просто так, гуляли и зашли...

За обедом вспыхнула ссора. Редактор ежемесячного жур-нала «Комплимент» Большаков оскорбил сиониста Гурфин-келя. Спор, естественно, зашел о новой России. Точнее го-воря, об ускорении и перестройке.

Большаков говорил:

– Россия на перепутье.

Гурфинкель перебил его:

– Одно из двух – если там перестройка, значит нет уско-рения. А если там ускорение, значит нет перестройки.

Тогда Большаков закричал:

– Не трожь Россию, инородец!

Все зашумели. В наступившей после этого тишине Гур-

финкель спросил:

– Знаете ли вы, мистер Большаков, как погиб Терпандер?

– Какой еще Терпандер?

– Греческий певец Терпандер, который жил в шестом столетии до нашей эры.

– Ну и как же он погиб? – вдруг заинтересовался Большаков.

Гурфинкель помедлил и начал:

– Вот слушайте. У Терпандера была четырехструнная лира. И он, видите ли, решил ее усовершенствовать. Добавить к ней еще одну струну. И повесить, таким образом, диапазон своей лиры на целую квинту. Вы знаете, что такое квинта?

– Дальше! – с раздражением крикнул Большаков.

– И вот он натянул эту пятую струну. И отправился выступать перед начальством. И заиграл на этой лире с повышенным, заметьте, диапазоном. И затянул какую-то дионисийскую песню. А рядом оказался некультурный воин Медонт. И подобрал этот воин с земли недозрелую фигу. И кинул ее в певца Терпандера. И угодил ему прямо в рот. И через минуту греческий певец Терпандер скончался от удушья. Подчеркиваю – в невероятных муках.

– Зачем вы мне это рассказываете? – изумленно спросил Большаков.

Гурфинкель вновь дождался полной тишины и объяснил:

– Хотите знать, в чем тут мораль? Мораль проста. А имен-

но: не повышайте тона, мистер Большаков. Вы слышите? Не повышайте тона! Главное – не повышайте тона, я вас умоляю. Не повторите ошибку Терпандера.

Затем я отправился в галерею Мориса Лурье. Там заседала культурная секция. Должен был выступать Рувим Ковригин. Помнится, Ковригин не хотел участвовать в симпозиуме. Однако передумал.

Еще в дверях меня предупредили:

– Главное – не обижайте Ковригина.

– Почему же я должен его обижать?

– Вы можете разгорячиться и обидеть Ковригина. Не делайте этого.

– Почему же я должен разгорячиться?

– Потому что Ковригин сам вас обидит. А вы, не дай Господь, разгорячитесь и обидите его. Так вот, не делайте этого.

– Почему же Ковригин должен меня обидеть?

– Потому что Ковригин всех обижает. Вы не исключение. В общем, не реагируйте, Ковригин страшно ранимый и болезненно чуткий.

– Может, я тоже страшно ранимый?

– Ковригин – особенно. Не обижайте его. Даже если Ковригин покроет вас матом. Это у него от застенчивости...

Началось заседание. Слово взял Ковригин. И сразу же оскорбил всех западных славистов. Он сказал:

– Я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей...

Затем Ковригин оскорбил целый город. Он сказал:

– Иосиф Бродский хоть и ленинградец, но талантливый поэт...

И наконец Ковригин оскорбил меня. Он сказал:

– Среди нас присутствуют беспринципные журналисты. Кто там поближе, выведите этого господина. Иначе я сам за него возьмусь!

Я сказал в ответ:

– Рискни.

На меня замахали руками:

– Не реагируйте! Не обижайте Ковригина! Сидите тихо! А еще лучше – выйдите из зала...

Один Панаев заступился:

– Рувим должен принести извинения. Только пусть извинится как следует. А то я знаю Руню. Руня извиняется следующим образом: «Прости, мой дорогой, но все же ты – говно!»

Потом состоялась дискуссия. Каждому участнику было предоставлено семь минут. Наступила очередь Ковригина. Свою речь он посвятил творчеству Эдуарда Лимонова. Семь минут Ковригин обвинял Лимонова в хулиганстве, порнографии и забвении русских гуманистических традиций. Наконец ему сказали:

– Время истекло.

– Я еще не закончил.

Тут вмешался аморальный Лимонов:

– В постели можете долго не кончать, Рувим Исаевич. А тут извольте следовать регламенту.

Все закричали:

– Не обижайте Ковригина! Он такой ранимый!

– Время истекло, – повторил модератор.

Ковригин не уходил.

Тогда Лимонов обратился к модератору:

– Мне тоже полагается время?

– Естественно. Семь минут.

– Могу я предоставить это время Рувиму Ковригину?

– Это ваше право.

И Ковригин еще семь минут проклинал Лимонова. При чем теперь уже за его счет.

К шести я был в гостинице. Переоделся. Выпил чаю, который заказал по телефону.

Перспективы были неопределенные. Панаев звал к своим однополчанам в Глемп. Официально всех нас пригласили к заместительнице мэра. Были даже разговоры о поездке в Голливуд.

Можно было отправиться в ресторан с тем же Лимоновым. А еще лучше – одному. В расчете на какое-то сентиментальное происшествие. На какую-то романтическую слу-

чайность...

Допустим, захожу. Напротив двери веселится голливудская компания. Завидев меня, полуодетая Джулия Эндрюс восклицает:

– Шапки долой, господа! Перед вами – гений!..

Есть и другой вариант. Иду по улице. Хулиганы избивают старика. Припомнив уроки тренера Гафиатулина, я делаю шаг вперед. Хулиганы в нокдауне. Старик произносит:

– Моя фамилия Гетти. Чем я могу отблагодарить вас? Что вы думаете о парочке нефтяных скважин?..

И так далее. А ведь я, формально рассуждая, интеллектуал. Так почему же мои грезы столь убоги? Чего я жду каждый раз, оказываясь в незнакомом месте?

Хотя, если разобраться, я ведь пересек континент. Оставил позади четыре тысячи километров. Неужели все это лишь для того, чтобы поругаться с Ковригиным?

Глупо чего-то ждать. Однако еще глупее валяться на диване с последней книжкой Армалинского.

Вдруг я заметил, что у меня трясутся руки. Причем не дрожат, а именно трясутся. До звона чайной ложечки в стакане.

Что со мной каждый раз происходит в незнакомом горо-

де?

И тут в дверь постучали.

– Войдите, – говорю, – кам ин!

Обратным зрением я видел каждую мелочь. Отметил и запомнил десятки красноречивых симптомов будущего происшествия. Долгий неубывающий рев амбулаторной сирены. Прерывистое гудение холодильника. Бледно-голубое лишнее «А» в светящейся рекламе «Перл» («PeArl»). Надувшиеся в безветренный день оконные занавески. Станный запах болотной тины, напоминающий о пионерском детстве в Юкках. Горький вкус не по-американски добросовестно заваренного чая. Все предвещало что-то неожиданное.

Я только не знаю, как они взаимосвязаны – происшествие и беспокойство. То ли беспокойство – симптом происшествия? То ли само происшествие есть результат беспокойства?..

В общем, я ждал, что произойдет какая-то неожиданность. Недаром я испытывал чувство страха. Недаром у меня было ощущение тревоги. Не случайно я остался в гостинице. Явно чего-то ждал. И вот дождался...

На пороге стояла моя жена. Вернее, бывшая жена. И даже не жена, а – как бы лучше выразиться – первая любовь.

Короче, я увидел Таську в невообразимом желтом одеянии.

Но это – длинная история...

* * *

В августе шестидесятого года я поступил на филфак. У меня не было тогда влечения к литературе. Однако точные науки представлялись мне еще более чуждыми. Среди «неточных», я уверен, первое место занимает филология. Так что я превратился в гуманитария. Тем более что мне как спортсмену полагались определенные льготы.

В университете я быстро ощутил себя чужим. Студенты без конца распространялись о вещах, не интересовавших меня. Любой из них мог разгорячиться безо всякого повода. Помню, как Лева Баранов, вялый юноша из Тихвина, ударил ногой аспиранта Рыленко, осмелившегося заявить, что Достоевский сродни экспрессионизму.

К преподавателям я относился с любопытством, но без должного уважения. Вряд ли кто-то из них меня запомнил. Хотя однажды латинист Бобович спросил перед началом занятий:

– А где Далматов?

– На соревнованиях, – ответил мой друг Эля Баскин. (За

час до этого мы с ним расстались возле пивного бара.)

— Какой же вид спорта предпочел этот довольно бездарный молодой человек?

— Далматов — известный боксер.

— Вот как, — задумчиво протянул Бобович, — странно. Очень странно... Ведь он совершенно не знает латыни.

Короче, я пропускал одну лекцию за другой. Лучше всего, таким образом, мне запомнились университетские коридоры. Я помню тесноту около доски с расписаниями. Запах тающего снега в раздевалке. Факультетскую стенгазету напротив двери. Следы бесчисленных кнопок на ее загибающихся уголках. Отполированные до блеска скамьи возле фотолаборатории.

Примерно к двенадцати здесь собираются окрестные лентяи. Мы говорим о литературе и разглядываем пробегающих мимо девиц.

У нас есть свобода и молодость. А свобода плюс молодость вроде бы и называется любовью.

Помню ожидание любви. Буквально каждую секунду я чего-то жду. Как в аэропорту, где ты поджидаешь незнакомого человека. Держишься на виду, чтобы он мог подойти и сказать: «Это я».

Я знал, что скоро и у меня будет девушка в кожаной юб-

ке...

Вот приближается Гага Смирнов, лет через десять женившийся на француженке. Вот Миша Захаров, который сейчас чуть ли не директор издательства. Арик Батист, тогда еще писавший романтические стихи. Лева Балиев, не помышлявший в те годы о дипломатической карьере. Будущий взятчик, заключенный и деклассированная личность – Клейн. Женя Рябов с красивой девушкой и неизменной магниевой вспышкой. (Я совершенно убежден, что можно покорить любую женщину, без конца фотографируя ее.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.